

ПОГОЖИЙ ДЕНЬ.

Член сельско-хозяйственной, трудовой коммуны — Онисим Гурьянов, проснувшись, долго не мог сообразить — где он?

Прямо в глаза били яркие лучи солнца, виделось сине-голубое, чистое небо. Кругом были навалены груды, скошенной вчера, свежей, душистой травы. В стороне, забравшись на плетень, оглушительно и звонко кричал петух, откуда-то, с улицы, ему откликнулся другой, третий... Под сараем, тихо и сонно, мычала корова.

Потом Онисим вспоминает, что вчера поздно возвратились с покосу и лежит он на повети.

Погожий, красный денек!

На отдельных былинках травы повисли маленькие, светлые капли росы, они таяли от первых солнечных лучей, которые уже перекинулись через конек соседней избы. Онисиму с повети были видны дали и сереющий в утреннем тумане лес и далекие светлые зеркала луговых озер.

Разминая затекшие члены, и потягиваясь, Онисим слез с повети и полез под сарай, к бочке, умываться.

Старик Липат, тоже член артели, сидел на крыльце, на солнечном припеке и, не смотря на то, что было воскресенье, работал, — кочедыком ковырял лапоть. Одевая на нем, домотканная широкая рубаха, спускалась почти до колен, синие, в полоску, порты, были тоже своей выделки. Землю топтал старик долго, прожитые годы он и сам уже перестал считать.

Плеснув на заспанное лицо холодной воды, Онисим подолом рубахи утерся и взглянул в конюшню. Одной лошади не было — Изосим уехал в луга за осокой. Подошел к Липату и уперев руки в боки, встал против него.

Около старика, на чурбаке, лежит старый, почерневший от времени, псалтырь. В свободное время Липат частенько берет его за него и бойко читает нараспев гнусавым, скрипучим голосом. В разговоре с кем-нибудь старик любит вставлять различные изречения великих пророков и святителей. По праздничным дням Липат имеет обыкновение выпивать, хотя за эту слабость артелью ему не один раз выносились порицания, в конце концов на старика махнули рукой. Выпив, Липат становился веселый, много смеялся дребезжащим, старческим смешком, потирая при этом лысину и пел псалмы, выводя дрожание, выразительные нотки. От старости и от самогона, зрение у старика стало слабо, слезящиеся, выцветшие глаза видели плохо и он низко склонялся над работой.

— Помогай Бог!

Старик, не отрываясь от работы, поднял на Онисима свои прищуренные глаза.

— Дед, чай, нынче грех работать-то, — праздник!

— Грех-то не с орех, а ядро-то не с ведро — отшутился Липат — работать никогда не грех...

— Эх, ты, старый хрен — укоризненно-шутливо произнес Ониска, — а еще псалтырь читаешь, а што там сказано про день-то субботний? А?..

— Суббота, субботой, а работа, работой — подумав, ответил Липат — не такое теперь время, чтобы ничего не делая сидеть, — с голоду подохнешь... Так-то, паренек.

И помолчав, добавил: — Изосим наказывал лошадей напоить, ты с'ездил-бы. А на пожню после обеда поедете.

Онисим выгнал со двора восемь лошадей и вспрыгнув на низкорослого, сытого савраску, шагом поехал к реке.

Утро разгоралось и деревня просыпалась. Почти во всех избах бабы затопили печки и белый дымок валил из труб и моментально таял в воздухе. Шабер коммунального двора, бывший староста, Карп Ильич, запрег в плетень, крашеный желтой краской, тарантас, своего сытого, вороного жеребца. У дуги пристегнута пара колокольцев. Скоро вышел сам Карп Ильич, в синей, суконной поддевке и в новом картузе с лаковым козырьком. Неторопясь перекрестился, сел в тарантас и тронул возжей.

Заговорили, засмеялись колокольчики. Изогнув дугой шею, жеребец часто и красиво перебирает ногами, от тарантаса не отстает розовое облако пыли.

— Э... э — ей! — зычно покрикивает Карп Ильич на группу идущих по дороге мужиков — берегись!

Мужики шарахаются в стороны, разом снимают шапки и кланяются.

А колокольцы все поют, захлебываясь и перебивая друг друга. Кулак поехал в соседнее село Дубовку к ранней обедне, скоро тарантас скрылся за поворотом улицы. Всего неделю назад трудовая артель, которая состояла из десяти беднейших семей, реквизирувала у Карпа Ильича косилку. И вспоминала плачущую рожу кулака, у которого отняли одну сотую награбленного им, Онисим широко и довольно улыбнулся, — подумав, что не плохо-бы на время страды взять у Карпа Ильича его жеребца, дав ему взамен заморенную лошадь из коммуны. Ведь Карп Ильич со своим толстым брюхом все равно работать в поле не ездил и его хлеб обрабатывали за него, те же деревенские бедняки, попавшие к нему в должники.

— Право, не плохо-бы,— опять подумал Онисим и решил поговорить об этом с остальными членами артели.

Деревенская улица, перекинувшись через широкий, каменистый бугор, одним концом уходила в степь, другим—упиралась в речку. Около самой плотины стояла черная, покряхивавшаяся избушка мельника, со всех сторон подпертая кольями и жердями. Не будь этих подпорок, изба давно-бы рассыпалась.

Спустился вниз по улице, к речке. С бочкой воды в гору поднимается горбатый сын бывшего лавочника, по прозвищу: „Горбыль“. Маленькая лошаденка вся вытягивается и едва-едва тащит. Навстречу попадаются девки и бабы в ярких платках, кофтах, с вплетеными в косы лентами и степенные мужики в длинных, до колен, рубашках. Все они шли к обедне, в Дубовку, откуда уже доносился мерный, зовущий звон колокола.

На речке, какая-то особенная, чуткая тишина, склонившись до самой воды, прибрежные талы дремали.

Низко, низко над зеркальным заливом носилась белоснежная, острокрылая мартышка, часто падала в воду, но не успев схватить добычу, она всякий раз поднималась с злобным криком.

Лошади зашли по колена в воду и долго пили, фыркая и вздымая.

Немного поодаль, под развесистым таловым кустом, пристроился старик-рыбак, в маленькой, черной лодченке, похожей на корыто. Точно застыв на зеркальной поверхности, лодка стояла не шелохнувшись, старик зорко поглядывал за поплавами.

По другую сторону реки раскинулись обширные, заливные луга. Трава там скошена и, кое-где, виднелись сметанные стога, точно большие шапки. Из-за этих лугов между Дубовскими и местными крестьянами издавна велась вражда.

Лошади напились, разбрасывая каскады светлых брызг вышли на берег и крупной рысью понеслись в гору.

У околицы Онисима остановил кузнец Прокофий, известный в деревне гуляка и буян. Одному члену артели, Арсентью Безухому, он приходился братом, а потому и заходил в коммуны частенько. Росту кузнец был невысокого, но обладал большой силой и характер имел веселый и беззаботный. На днях, когда Онисим приезжал в кузницу ковать лошадь, то спросил его в шутку: „Прощка, ты, должно, богат как черт, работаешь, работаешь, чай денег-то накопил—эвона сколько“. В ответ на это, кузнец поднял над головой кувалду и, легко помахивая ею, засмеялся: „Вот мое богатство! Была-б сила да здоровье, а то все нипочем“.

Нынче Прокофий был одет по праздничному. Новая, писанная, рубашка, подпоясана серебряным черкесским поясом с блестящими

пряжками. Картуз, помятый и загвазданный в пылу драк, лихо заломлен на затылок.

— Куда те черти несут—смеется Прощка—здорово!

— Здрово!

Онисим подобрал поводья и остановил Савраску.

Кузнец долго и подробно рассказывал, как он, на днях, гулял с ребятами на вечерке, потом о том, как, где-то, у кого-то, били окошки и мазали дегтем ворота. Скуластая, опухшая от пьянства рожа Прощки, светилась невыразимым весельем и удалью. Рассказывая о своих похождениях, он размахивал руками, задыхался от смеха и крутил головой.

— Выходим оттуда распьяны-пьянешеньки, берем по кому, подходим к Емелькиной избе, р-раз по окошку, р-раз по другому...

— Ну, прощевай—говорит Онисим и трогает лошадь.

— Самогонки приготовьте, нынче в гости приду—кричит кузнец.

— Мы не пьем, да и тебе не советовали-бы, к полдню все на поевню уедем.

— Камуня!... Жадны вы больно, готовы и будни и праздник работать, черти—сердится Прощка и идет к речке, должно быть к мельнику, с которым они большие приятели и друзья закадычные.

Изосим воротился и посреди двора распрягал лошадь. Липат складывал с рыдвана пучки свежей осоки под навес сарая. Тут же вертелся шестилетний сынишка Изосима—Федька.

Пока отдыхала лошадь, все пошло в общую артельную столовую, большую и светлую избу, которая помещалась через дорогу.

Трое членов Коммуны были уже там и о чем-то горячо спорили, послали за остальными, которые скоро и пришли.

Организатор артели—Иван Паленый—мужик бедный и обремененный большой семьей, в споре с Андреем Мазаным, развивал свою мысль организации всей волости на коммунальных началах.

— Вот, брат ты мой, перво-на-перво, нам надо не на словах, а на деле показать всю выгоду общественной обработки земли, совместного разведения и кормежки скота...

Не имевший ни о чем своего твердого суждения, Афанасий, по прозвищу: „Соплей перешибить“, во всем соглашался с Паленым и поддакивал.

Сели за стол. Старик Липат большими ломтями нарезал хлеб и подложил по одному каждому. Изосимова жена, Аксинья, принесла блюдо вареных яиц и накрошенного мяса с холодным квасом. Потом на столе зашумел, начищенный до жару, кипящий самовар.

Жена у Изосима высокая и здоровая, с черной, длинной косой, похожей на лоша-

динный хвост. Изосим часто хвалил ее: „Не баба, а золото,— обыкновенно говаривал он — любого мужика за пояс заткнет“.

Наскоро подзакусили и пошли закладывать лошадей.

Паленый, на ходу прожевывая, восторженно говорил Онисиму:

— И будем мы жить все вместе, большой трудовой семьей, в больших просторных домах, а не то, что теперь, ютимся, как скотина какая, в хлевах.

Во! Во всей волости вместо тридцати деревень, выстроим один агромадный, каменный дом. Там все будем жить. Уничтожим, брат ты мой межи. Устроим себе читальню, библиотеку, школу откроем, театр. Сами будем агрономы, слесаря, техники. Разведем племенной скот. На хлеб выменяем сеялок, косилок, жнеек, веялок и все, что нужно по хозяйству. И будем все жить в мире, да согласии, по братски.

— Ка-бы так-то — вздохнул Онисим.

— Будет, непременно будет,— опять начал Паленый,— а соседние-то волости поглядят, как мы живем, увидят достаток наш, да и сами в артель, в коммуну организуются, вот тогда и наступит земной рай...

...Солнце стояло высоко и пекло здорово, когда коммунары выехали за околицу.

В поле поехали пятнадцать человек, на десяти лошадях, с двумя косилками и сгребалкой. Старик Липат и Федька остались домовничать.

Выехали в поле. Онисим нарочно сел с Иваном Паленым, чтобы послушать его.

В большой, косматой голове Онисима, тяжело ворочались непривычные думы. Человек он был темный и необразованный, в коммуну вступил всего месяца полтора и немало удивлялся тому, как его — простого деревенского батрака, всю жизнь скитавшегося по чужим людям и ничего не имевшего, кроме сильных рук, да здоровой спины,— приняли в коммуну, как полноправного члена. И помнил Онисим, что именно, этот самый Иван Паленый, уговаривал его вступить в коммуну: „Ты, брат, не виноват,— говорил Иван,— что не обзавелся хозяйством, лошадейкой, избенкой. Ты-ли не работал? Ты-ли не трудился от зари до ночи? Пили твою кровь, выматывали твоё здоровье и силу, мироеды-горланы. За четвертную они нанимали тебя с Филипповок до осеннего Николе; взваливали на тебя непосильную, лошадиную работу. И тебе некуда было податься — терпел“.

Чувствовал Онисим, что все слова Ивановы — чистая правда. Проникали они в самую глубину души и вызвали бурное желание пожить новой жизнью, жизнью свободной, вольного пахаря.

— Н-но, милай! — покрякивал Иван на Савраску и пускал ее рысцой. Прыгая по

кочкам, телега бойко катилась с бугра. Иван что-то говорил, но голос его дребезжал от тряски и Онисим ничего не мог разобрать.

Тихий благовест едва доносился из Дубовки. Обедня отошла и пестрые кучки молящихся, растянувшись по дороге, возвращались домой.

Кругом раскинулся пышный ковер, золотой, волнуемой ржи. Небо синее, голубое, далеко, без единого облачка. Далеко, далеко в стороне, виднелся ехавший верхом на лошади человек, точно муравей тихо взбирался на бугор. Это пастух разыскивал заблудившуюся овцу. Поле и вдоль и поперек исхлестано колеями дорог, белками и щелями. Дорога, то поднималась на огорок, то опускалась, идя направо, налево. Лошади запотели и дышали тяжело.

Иван, то и дело подстегивал Савраску мочальным кнутом.

Хлеб в этом году вышел неважный: „От колосу, до колосу, не слышать голосу“, как в шутку говорил Иван. Дорога пошла на гору. Онисим с Иваном прыгнули с телеги и пошли около.

— Беда, беда — качал Иван головой — все нехватки, да недостатки, взяли в царскую войну двух сыновей, угнали ни весть куда и остался я теперь без помощников, остался, брат ты мой, на ефесе — ножки свеса.

— В кишки она в'елась эта война всем, так я думаю — сказал Онисим — одну не успели кончить, другую — затеяли.

— Ну, брат, не-ет — сказал Иван — раньше война была так себе, для переводу черного народа... К примеру сказать, нас русских, темных крестьян, сталкивали лбами с крестьянами немецкими, мы и полыскались, не разобравши дела, а теперь!...

Иван говорил восторженно и горячо. Глядя в его большие, серые глаза, на его рябовато-веснучатое, доброе лицо. Онисим невольно подпадал под влияние его идей и верил тому, что он говорил.

— Теперь, брат ты мой, после Октябрьской революции, которая все земли, леса, уголья — передала без выкупа в крестьянские, мозолистые руки, теперь гражданская война ведется за укрепление этих завоеваний. Будем короче говорить: не будем сейчас с буржуями воевать, побросаем винтовки, разбежимся по домам, что-же потом будет? Сметни-ка? Раскинь умом...

— А што будет? — просто спросил Онисим.

— Будет-то, что?... Придут опять помещики, отберут всю землю, и опять бедняки и середняки будут гнуть спину перед баринам, да кулаком.

Помолчав немного, Иван добавил:

— Они, господа-то, свое возьмут. С мясом вырвут, а возьмут. В раззор, разорят. По миру пустят.

Указывая кнутовищем, на видневшийся вдаль лесок, Иван продолжал:

— Вой, в том самом лесу, помещицья, Крутоярковская усадьба стояла. Сам-то, помещик, в городе жил, а сюда только по зимал наезживал — охотиться, а управляющий его, приставленный, был зверь лютый. Вся округа его боялась. Бывало, в стужу, в мороз пымат мужика в лесу и за сухой прут сейчас острогом грозит. Никаких у него, ни лесников, ни сторожей не было, никому не доверял, все сам, как пес, чужое добро сторожил. ...Н-да, мужик, известно взмолился: „Прости“, да „Отпусти“. Начнет зароки давать, а тот, этак с усмешечкой, и говорит: „Обработашь такой-то участок на меня — пуцу“. Тут мужик на все согласен, лишь-бы вырваться, а потом и обрабатывает на помещика его участок задарма, весной пашет, боронит: осенью всей семьей убирать, да на усадьбу и возит снопики-то*.

Тяжело вздохнув, Иван горько потрянул головой и продолжал печальное повествование о былых порядках.

— Да-а, работашь, работашь, бывало, с ранней весны вплоть до заморозков, видишь это, в поле свой хлеб и сердце радуется. Вот, думаешь, продам — лошаденку лишнюю огорю, сарайшко подновлю, одежонку справлю. Ан, пришла осень, только свеж первый воз хлеба на мельницу, Крутоярковский управляющий уж тут, как тут. Начнет высчитывать: За с,емку лугов столько-то, за пограву столько-то“. Тут самому каждая копейка до зарезу нужна, а ему вынь, да выложь — ничего знать не хочет. Там, глядишь, и староста в окошко стучит: „подавай подати — страховые, земские, поземельные“. Голова кругом идет. Так вот и жили, так вот и маялись, работали не разгибая спины круглый год и едва концы с концами сводили“.

— А теперь, што с помещиком-то стало? — спросил Онисим.

— Самого раскуделили, восемь деревень громить ходили — скопом. Усадьбу сожгли, имущество растащили, скотину по жребью разделили, а самого Крутоярова с управляющим повесили в том самом лесочке, хошь злость немного сорвали...

Иван зло стегнул лошадь, взвизгнули немазаные колеса и телега, прыгая по кочкам и выбоинам, быстро покатила под горку.

В стороне, у дороги, два мужика косили высокую, густую траву. Несмотря на невыносимую жару, оба были в меховых шапках, за ними согребала баба, с надвинутым на глаза красным платком. Мерно и дружно мужики взмахивали косами, скошенная трава ложилась ровной волной. Косы тихо позвякивали.

— Помогай, Бог! — крикнул кто-то с задней телеги.

Мужики остановились и, приподняв шанки, хором сказали:

— Спасибо!

Потом один из них перекинул через плечо косу и направился к дороге. Иван остановил.

— Нет-ли у вас, братцы, испить чего — прохрипел косец подходя к телеге — в глотке пересохло.

Онисим порылся в телеге и извлек из-под груди сена горшок холодного, кислого молока (уряшу). Косец, запрокинув назад голову, долго и жадно пил.

— Э-э! гоже! — крикнул он, возвращая Онисиму пустой горшок; затем вытер рукавом усы и, нахлобучив на глаза поглубже шанку, пошел работать.

До первой пожни доехали к полудню. Солнце припекало, над степью дымкой дрожало и струилось марево. Высоко в небе плавали ястреба. Участок был невелик — всего сорок на сто сажень длиннику. Трава плохая, мелкая и сожженная солнцем, точно мочало. Больше половины поля было скошено вчера. Доработать участок остались Иван, Онисим и одна баба. Оставили косилку, трех лошадей и телегу, — остальные члены артели поехали дальше, на два другие участка, которые находились за видневшимся бугром, верстах в трех.

Онисим все раздумывал над словами Ивана и на душе у него было легко и радостно. Наконец-то, как ему казалось, он стал понимать светлую правду, которая была чиста, как это, раскинувшееся над степью голубое небо.

Чтобы дать немного передохнуть лошадям с дороги, распрягли их и спугав пустили на траву.

Наскоро пообедав привезенной из дому рубленой говядиной и кислым молоком принялись за работу.

В косилку запрягли нару лошадей и тронули. Иван начал погонять и старательно стегать уставших лошадей, Онисим взялся сбрасывать кошеную траву деревянными вилами. Лошади то вставали, то дергали толчками, целая волна травы заваливала и платформу косилки и Онисима. Рот розевать не приходилось, потому что не успев во время сбросить охапки травы и зубья косилки уже заедали, попадали на кочки и камни.

Об'ехали круг, два. У Онисима руки, плечи, спина — все приятно ныло от усталости. Переменяли одну лошадь, поехали опять. Надо было торопиться и засветло кончать работу. А солнце пекло, пот градом лил с работавших. Лошади в мыле.

Монотонно трещала косилка. Иван щелкал кнутом, и во все горло орал на лошадей. Баба ходила по рядам скошенной травы и граблями согребала кучи.

Солнце еще стояло высоко когда кончили работать. Перепрягли лошадей наложили пол-

ную телегу с верхом душистой травы и тронулись домой.

Дорогой Иван рассказывал Онисиму о тех многотрудных и тяжелых испытаниях, которые придется вынести русскому крестьянству прежде чем закрепятся в жизни все великие завоевания Октябрьской революции.

И слушая неторопливую, умную речь Ивана Онисим верил, что пройдет один, другой десяток годов и с глаз многих миллионов серых труженников спадет повязка темноты, невежества и сонной одури.

Ко двору лошади бежали бойко. Когда въехали в деревню, то было уже темно. Но на западе край неба еще был окрашен в кроваво-пурпурный цвет, и в движущихся голубых тенях, переливались краски фиолетовые, бледно-розовые, синие и зеленые.

На деревне весело. Молодежь играла в погорелки. Старики уже спали. Завтра рабочий день и вставать нужно было с петухами, до солнечного восхода.

Где-то далеко, в конце улицы, взвизгивала гармонь и хор сильных голосов горланил частушку:

— Запрягай-ка, тятка, лошадь,

Сивую, косматую.

Есть девчонка на примете,

С'ездию, посватаю—у!

Пособив Ивану распрячь лошадей Онисим залез на повети и заснул на душистой, ароматной траве, как убитый.

(Красный Лапоть.)

И. Козьмов.



М Я Т Е Ж

(Сельская хроника).

По рыжему, глинистому бугру разметалось большое, богатое село Покровское. В былое время по воскресным дням и престольным праздникам сюда съезжались со всех окружающих деревень, собирались большие торжища. По пыльным, степным дорогам за много десятков верст со скрипом тянулись тяжелые возы, груженные льном, пенькой, глиняной и расписанной посудой, ободьями, колесами, дугами, дегтем и другими по хозяйству предметами. Гимные кочевники широких степей—вороватые цыгане пригоняли в Покровское целые косяки коней, значительная часть которых была угнана смелыми и ловкими конокрадами из соседних уездов или из ночного, или прямо со двора зазевавшегося хозяина.

По целым неделям над селом стоял шум и гам празднично настроенной толпы. Бабы, девки и ребятишки ходили по лавкам с галантерейным и красным товаром. Рядились, спорили, делая разочарованный вид уходили от прилавка и опять возвращались, пробовали на зуб добротность ситца или кумача, перешучивались и переругивались с словоохотливыми торговцами, которые щедро сыпали и направо и налево порой остроумные прибаутки. Бабы и девки ржа во все горло,

скалили зубы, грызли орехи и семечки, плевали на все стороны и шли на карусель кататься или смотрели длинноносого Петрушку и помирали со смеху, не мало дивились хитрым умным проделкам фокусника, который реал железные цепи и разбивал о свою голову кирпичи. ~~За пятак~~ пробовали счастия и тянули билеты, по которому, по словам продавца, мог попасть самовар, золотое кольцо, карты и другие ценные вещи.

На другом конце села происходила купля—продажа и менка лошадей. Между телегами толкались и неверными шагами бродили подвыпившие мужики с бутылками и полбутылками водки в руках и в карманах армяков и полушубков. Не смотря на большую жару большинство в теплых, вязаных шарфах и в высоких бараньих шапках. Сверкая налитыми кровью белками глаз, цыгане охрипшими за день голосами клялись и божились самыми страшными божбами, крестились на солнце, на церковь.

Два Покровских трактирщика торговали бойко. Из распахнутых настеж дверей с раннего утра далеко за полночь несли нестройный гул пьяных голосов, заглушавший игру граммофона. Продавцы и покупатели пили по всякому поводу. Продавалась лошадь—купив-